

Ирина ГОВОРУХА

ВОКАЛИЗ № 3

Издание второе

Киев
«Саммит-Книга»

УДК 821.161.1(477)'06-3

Г57

Иллюстрация на обложке: "Beautiful woman 2082802".

Фотограф Nejrón /

Стандартная лицензия / www.depositphotos.com

Говоруха, Ирина.

Г57 Вокализ №3 / Ирина Говоруха. — 2-е изд.— К. : Саммит-Книга, 2018. — 336 с. — (Серия «Отпечатки»).

ISBN 978-617-7560-72-1

ISBN 978-617-7182-68-8 (серия)

Любовь под силу далеко не каждому. Ее философия, законы и содержание открываются не с первого раза. Ее глубину и высоту нереально измерить шпагатом, локтем, метром и аршином. Мудрость невозможно осилить без академического словаря, а историю — без Евангелия и Книги мертвых. Она не поддается логике. Не имеет общих пропорций, правил и лекал. Ее свобода выходит за рамки разума, а разум требует абсолютной свободы.

УДК 821.161.1(477)'06-3

Все права защищены.

Охраняется законом об авторском праве.

Воспроизводить какую-либо часть этого издания

в любой форме и любым способом без письменного согласия автора запрещено.

ISBN 978-617-7560-72-1

ISBN 978-617-7182-68-8 (серия)

© Ирина Говоруха, 2018

© «Саммит-Книга», 2018

Глава 1.

2016 год. Песня без слов

Небо напоминало противень с сизой карамелью. Листья, почерневшие по краям, торчали из сточных решеток, и пахло жареным рисом. Солнце приглушило свет до минимума, будто спрятало голову под парчовым платком. Огромная ворона сидела на краю урны и заинтересованно смотрела внутрь. Затем выудила длинный вытянутый презерватив и любовно разложила на асфальте. Мальчик в резиновых сапожках мутил лужи и хныкал:

— Мама, я не был героем. Я так старался не заплакать, когда тетенька-врач колола мне пальчик, и не смог.

Мама с озабоченным лицом выстукивала смс, а потом вдруг спросила:

— Ты не помнишь, выключила ли я утюг?

Осень вела себя возмутительно: стреляла дождем, будто из рогатки, рассыпала твердые зерна снега — почти что саго, и транжирила летние залежи тепла.

Ирина Говоруха

Разбазаривала краски. Размывала ветошью последний ализариновый цвет. Люба старалась не обращать внимания на это безобразие и медленно брела домой из «Счастье НУВ», в котором пять минут назад закончилась лекция о теории поколений. Неспешно обходила лужи, будто старые карманные зеркальца, поправляла сползающий шарф цвета спелых яблок и думала о своей семье. О том, что у них под одной крышей уживаются три поколения с разным мировоззрением, ценностями и ориентирами. Бабушка из «беби-бумеров», мама — из поколения «х», а она — из «игреков». О том, что бабулька диктует погоду, пытается все контролировать и навязывает свое мнение, а мама, настоящая «спящая красавица», регулярно прячется в скорлупу. Все время молчит, отвечает невпопад или с опозданием на целую лонгу. Люба же на все имела свою точку зрения, и у нее с бабкой никогда не затухал латентный конфликт, и не прекращалась конфронтация, ведь старушка считала, что женщины обязаны геройствовать, быть сильными, самостоятельными, твердыми и непоколебимыми. Никогда не плакать, никогда не жаловаться и ни о чем не просить. Они не имеют права болеть и афишировать свою болезнь, разминая рукой ноющую поясницу. А еще уставать, чего-то бояться, кому-то доверять и демонстрировать свою уязвимость. Любе внушали эти догмы с самого детства, когда кормили манной кашей с островками смородиновых ягод, когда втемяшивали обращение септаккордов и отпускали с классом в поход к старому двухпалубному пароходу. В такие моменты бабушка наливалась кровью и превращалась в «красного коня». Нервно гарцевала по гостинной, трясла гривой

с кислотной химической завивкой, тяжело отдувалась и смотрела так, будто пыталась выжечь клеймо в Любимом мозгу, а заодно и на противоположной стене:

— Запомни, все мужики — сволочи. Им нужно только одно — куда-то пристроить свою неугомонную пипку.

В городе начался замедленный листопад. Листья живо выстилали тротуары по принципу папье-маше. Во дворе сидели бабушки-пенсионерки в мохеровых беретах, цигейковых пальто, ворсистых рейтузах и бурках. Они сжимали опорные трости с затертыми рукоятками и о чем-то оживленно беседовали. У многих тряслись подбородки, будто под кожу вживили батарейку Duracell, поэтому разговор звучал нечленораздельно:

— Люди одиноки, потому что вместо мостов строят стены. Вспомните Марину Цветаеву и Франсуазу Сган. А Есенин с Айседорой Дункан? Как намучились, бедняги! А что уж говорить о Шопене и Жорж Санд!

Люба кивнула, словно это было сказано лично ей, и потянула на себя подъездную дверь.

Их семья состояла из трех женщин: бабушки, которую называли Люба большая, мамы со строгим именем Маргарита, удивительно ей не подходящим, и Любы маленькой, хотя ей исполнилось уже двадцать пять лет. Мамино имя все давным-давно забыли и называли ее сокращенно от Ритули — Тулей. Бабушка, когда сердилась, обзывала ее Тюлькой и ставила в упрек:

— Живешь, как в консервной банке. Ни интересов, ни характера, ни таланта!

Мама флегматично кивала, привычно собирала со стола чашки, также молча смахивала полотенцем

Ирина Говоруха

острые бриллиантовые гранулы сахара и уходила к себе читать. Бабушка успевала крикнуть вслед:

— Ты словно дворецкий в «Лунном камне»! Тот тоже перечитывал «Робинзона Крузо» всю свою жизнь.

Они обитали в трехкомнатной квартире в доме с ма-
скаронами по улице Саксаганского. Именовали свое жилище «Женским царством» и вели общий быт. Квартира выглядела, как музей Булгакова: всюду книги, книги, книги, волосатые корешки раритетных изданий и полные собрания сочинений Куприна, Фета, Дюма. На стенах — портреты Мусоргского и Майбороды. Дореволюционное пианино, часы с кукушкой и старинное бра. Старомодные чехлы на стульях, которые еще школьницей мама Туля ассоциировала с картиной Бродского «Ленин в Смольном». На ней лысый вождь с желтоватым лицом человека, пораженного синдромом Жильбера, сидел на таких же зачехленных стульях, читал газету «Гудок» и ждал свой любимый морковный чай.

Бабушка любила чистоту, поэтому убирались тщательно, как было принято еще при ее маме. Паркет до сих пор натирали мастикой, чтобы придать полу дополнительный блеск, серебряные ложки замачивали в мыльной воде, посуду мыли горчицей, а в чайнике кипятили лимоны для устранения накипи. Сливы и груши выкладывали в двухэтажную фруктовницу. Окна натирали сырым картофелем и газетами. Туалет — чистым уксусом и постоянно заботились о приятном аромате. Мама Туля насыпала в вазочки сухую лаванду, крымский чабрец и душистую резеду, а внутрь прятала губку, пропитанную маслом герани. Стол накрывали вязаной крючком скатертью, твердой, почти что картонной. Бе-

регли скрипучее кресло-качалку, несколько кованных подсвечников и какой-то абсолютно древний дерматиновый диван, доживающий свой век на лоджии. Обхаживали столетний разросшийся фикус и коллекцию переростков алое, напоминающих семейство монстров. А еще бережно хранили семейные альбомы, пахнущие яблочными семечками и горьким миндалем, с желтеющими снимками закутанных в несколько одеял никому неизвестных младенцев, женщин с буклями и мужчин в шапках-ушанках из серой мерлушки. К ужину иногда зажигали свечи, пили кофе из чашек-наперстков и разговаривали. Вернее, солировала бабушка, а все внимательно ее слушали.

В доме постоянно звучала музыка: Чайковский, Прокофьев, Бах и Никколо Паганини. Чаще всего каприс № 24 и рондо. Пианино всегда держали открытым, чтобы в любой момент можно было приступить к разбору «хроматического» этюда a-moll № 2, позволяющего укрепить четвертый и пятый пальцы правой руки. Все члены семьи хорошо играли на фортепиано, выколачивая из белых и черных клавиш рондо, пассакалии и менуэты. Знали наизусть «Девочка пела в церковном хоре» Блока и «Источается тонкий тлен...» Мандельштама. Иногда устраивали чтения Толстого и обсуждения переписки Чехова с Книппер. Любе младшей нравился шуточный тон писателя и то, что свою жену он мог обозвать «собакой», а еще пожаловаться на отсутствие мух или, наоборот, на их чрезмерное присутствие и вынужденную меру мыть голову спиртом. А еще женщины хороводами водили разговоры о гармонии, лейтмотивах и побочных партиях. И всякий раз, когда бабушка была

Ирина Говоруха

чем-то недовольна или ей не нравилось то, что вокруг транслируют, демонстративно затыкала уши:

— Это не разговор. Это сплошная малая секунда.

Гостей приглашали по воскресеньям — таких же театралов, говорящих на пяти языках, с английскими брошами и манерами пансиона благородных девиц. Приходили бабушкины коллеги — чопорные нафталиновые дамочки с напудренными волосами. Они сидели с бледными полумертвыми лицами, пили белый вермут и обсуждали Баскова, устроившего из оперы балаган. Люба старалась разбавить компанию и, еще будучи студенткой, приводила духовиков из института им. Глиэра. С ними никто не дружил и даже не считал за людей, обидно обзывая свистками. Для музицирования их даже отселили в отдельный флигель, напоминающий неухоженное стойло для лошадей. Молодые люди, попавшие на чай, не проходили испытания литературой и ничего не могли сказать по поводу «Пиковой дамы» и ее сближения с героями романа Достоевского «Игрок», поэтому сидели пунцовые, взвинченные, перевозбужденные. Сучили ногами и с неподдельным интересом рассматривали крохотные творожные бланманже и пирожные «Хлоя» в черной глазури. Стеснялись себя, своей заношенной одежды, своего голоса, в результате волнения соскакивающего на дискант, и своих ладоней, не дотягивающих до огромных рук Листа и Шопена. Люба младшая забавлялась, наблюдая, как натягивается бабушкино лицо, будто холст на подрамник, когда ее друзья закидывали свои шуточки типа: «Чтобы музыку сберечь, нужно все баяны сжечь» и именовали домбры «ложками», а отделения в концерте — выделениями.

Девушка все время пыталась завести разговор о современных писателях и поэтах: о Юрии Издрыке и Ирэн Роздобудько, о Жадане и Оксане Забужко, только ничего не получалось. Бабушка считала, что настоящее искусство осталось в прошлом и кардинально нового уже не создать:

— Вот что они пишут, ты только вдумайся! С неба течет ртуть, и нужно из океана достать пробку, чтобы спустить воду и горизонт. Жесть какая-то.

Люба большая командовала, как маршал Красной Армии. По квартире расхаживала на каблуках и в длинном, почти что концертном платье. У нее их была целая коллекция: китайские с жар-птицами, драконами и гейшами; шелковые, напоминающие халаты, и из тяжелой дорогой парчи. Даже тапочки — и те были на каблукке и с гламурной лебединой опушкой. Светлые волосы с благородной розовинкой укладывала в прическу, взбивая на голове шапку, напоминающую белковый крем на свадебном торте. Ежедневно пользовалась губной помадой, но она с каждым годом держалась все хуже, забивалась в щели и морщинки, и в результате рот выглядел «окровавленным», будто бабулька пять минут назад кого-то слопала живьем.

Возраст бабушки уже подбирался к семидесяти, но она оставалась стройной, подтянутой, жилистой и энергичной. Ела, что хотела, и не набирала вес. Держала спину, даже когда вставала ночью в туалет, и категорически не употребляла фруктов на ночь. Мама Туля была совсем другой закваски и даже некоторое время подзревала, что ее удочерили. Флегматичная, с поплывшим

Ирина Говоруха

контуром лица и тела, хотя ей натикало всего сорок пять, и с вечным желанием что-то пожевать. Хоть хлеба горбушку. Она постоянно сидела на каких-то сомнительных диетах и одолжила у испанцев принцип ничего не доедать до конца, оставляя в тарелке две ложки пасты или два глотка томатного сока. Только это не спасало, и ее бедра продолжали раздаваться, рыхлеть, и кожа все больше напоминала кефир, в который только что всыпали горсть соды, погашенной уксусом. Бледная, с вечно натертыми пятками и болтающимися неопрятными лентами пластыря. С пухлыми локтями, коленями, плечами и подбородком. Считала, что поправляется даже от воды, и кабачковый суп-пюре с цветной капустой и брокколи для нее — как мертвому припарка. Одевалась невзрачно и, если бы изобрели плащ-невидимку, не снимала бы его даже в бане. Постоянно грустила и смаковала тоску. Приходила с работы — а она работала аккомпаниатором в педагогическом училище № 2 — и первым делом прятала пальцы в муфту. Отогревала их на батарее или замачивала в теплых солевых ванночках. Жаловалась на холод в классах и на безответственность учеников. Вечно мерзла и даже дома не снимала флисовый спортивный костюм и угги, со съехавшими в стороны задниками. Сидела вся такая несчастная, отечная и смотрела вдаль, словно хотела достать взглядом макушки бучанских сосен или раствориться в пепельном киселе проплывающих грозовых облаков. Листала Гюго «Последний день приговоренного к смерти» и дремала в ожидании сериала «Цвет черемухи». Бывало, смотрела конкурсы красоты и обреченно вздыхала, наблюдая тугие, будто резиновые, попки:

— Мне такой никогда не быть.

Любочка подкатывала ей под ноги гантели и в каждый день рождения дарила абонемент в спортзал, только мама была непреклонной:

— Зачем ты тратишься? Все равно не поможет!

Оживлялась только при виде журналов по флористике и возможности поковыряться в земле. Всякий раз, когда бабушка отправлялась в гости к подруге в Белую Церковь, принималась за составление свободных, асимметричных букетов или бутоньерок размером с кулак. С размахом пересаживала орхидеи, выстилая горшочные днища керамзитом и обломками кирпичей, найденных на стройке, выращивала в старых чайных чашках рукколу, а в суповых — шпинат. Строила прищепочные заборы, оживляя их бабочками, купленными в магазинчиках бесполезных вещей. А потом возвращалась «генеральша», и композиции отправлялись в мусорное ведро. Тулины глаза тускнели, исчезали, будто звезды с размытого рассветом неба, а потом ее накрывала привычная инфантильность и состояние сомнамбулы. Иногда женщина шепотом признавалась дочери:

— Мне кажется, что моя собственная мама высасывает из меня жизнь. Посмотри, какая она бодрая, негибаемая. Настоящий оловянный солдатик, а я не могу ни уснуть толком, ни проснуться.

Люба младшая кивала. Соглашалась. Регистровала Тулю на сайтах знакомств и жестко фотошопила ее фото, убирая объемы, складки и простоватость прически. Подтягивала контур лица и затираала припухлость нижних век. Водила на импровизированные джазовые концерты и камерные чтения Бродского на чьей-то лоджии

Ирина Говоруха

с плюшками и романсами Коломбины. На «Книжный Арсенал» и на игру в «Монополию» в креативном пространстве «Времени вагон».

Сама же девушка носилась по дому как угорелая и хваталась за все подряд. Вечно в растянутых футболках, лосинах и в наушниках, слушая альбомы Дэвида Гарретта. Бабушка дежурно делала ей замечания, продолжая красиво срезать спиралью грушевую кожуцу, как требовали того правила этикета. Она ненавидела молодежную моду: все эти «сникерсы», дырявые джинсы, подвернутые штанины брюк до середины икры, пальто-пледы и шарфы-снуды размером с огромный дивандек, считая их дешевым юношеским протестом. А еще безостановочно осуждала правительство и критиковала мужчин. Ругала их походку, лень, сутулость, неряшливость, неверность, вранье и примитивизм:

— Мы — образованные, в оперном выросли, «Хованщина» и «Травиата» разобраны до последней синкопы. Пастернак — почти весь наизусть, а им только борщи подавай понаваристей, спиннинги да спортивный канал. И потом, что ты слушаешь? Ты видела, как выглядит этот скрипач? Нельзя играть серьезную музыку с мотней по колено, да еще обвешенным цепями, перстнями и в готических сапогах. Он же исполняет великие произведения Альбиниони и Римского-Корсакова. Где уважение к вечному?

Мама Туля привычно кивала и пододвигала кресло к окну. Казалось, она даже не слушает и ни во что не вникает. Иногда комментировала, но, как правило, невпопад. Могла протяжно вздохнуть и, на манер Ренаты Литвиновой, заметить:

— А небо-то сегодня зарябило. И самолеты разленились. А один и вовсе упал за горизонт.

Люба заводилась и пыталась доказать, что мир круто изменился, а этот скрипач-виртуоз, наоборот, омолодил забытые вещи. И что давно в прошлом то время, когда нужно было служить кухне, выпекая кулебяки и замораживая укроп. Что больше нет очередей, дефицита, купонов. И мужчины другие: самостоятельные, образованные, не зациклены на быте. Только бабка ловко ее одергивала:

— Что ты понимаешь в свои-то годы? Ты еще жизни не нюхала. Живешь на всем готовом.

Люба младшая замолкала, а потом выдавала новую информацию:

— Бабуль, а ты знаешь, что одиночество передается по эстафете. Я вот была на лекции, и нам говорили...

— Я не собираюсь слушать этот бред! Ты лучше мне расскажи основные методы оценки консонансов и диссонансов. И вообще, как ты собираешься сдавать гармонию?

Кроме разногласий по поводу межличностных отношений, они еще сражались из-за вещей. Люба младшая считала бабушку Плюшкиным и регулярно пыталась разобрать завалы. В результате женщины надрывно спорили из-за каждой керамической турки, записных книжек с давно не существующими телефонными номерами, сачка, с которым еще мама Туля ковыляла по лужайкам, и кофейной чашки с золотым ободком. Из всего сервиза она осталась одна, и бабушка всеми силами пыталась ее сохранить, подчеркивая, что это настоящий Thomas. А еще отстаивала маленькие розетки для варенья, сче-

Ирина Говоруха

та за квартиру, с прошлого тысячелетия перевязанные бечевкой письма, прадедушкины партитуры, метроном и колотые пуговицы в гостевой сахарнице.

Сколько Люба младшая себя помнила — в доме никогда не водились мужчины. Ни дальних родственников, ни папы, ни сантехника, ни электрика, ни братьев, ни коллег. К мужскому полу всегда было пренебрежительное и даже брезгливое отношение, как к клопам или крысам. Конечно, всех не передавишь, вот и приходится мириться с их существованием. Бабушка, заслышав мужское имя, делала такое лицо, будто у кого-то из кармана дурно пахла прошлогодняя крабовая палочка или поблизости поселился скунс. Насквозь высокомерная, острая на язык — типа он не мышечный орган, а тесак — она обо всем имела свое правильное мнение и никогда ни в чем не сомневалась. Считала, что разбирается во всех сферах — от политики и строительства Кольской скважины до вопросов космонавтики и хирургических швов. Обожала рассуждать о белом и черном, далеком и близком, и никогда не ошибалась, разве что один раз в жизни и то по молодости. Просто так сложились обстоятельства, в результате которых родилась Тулька, а потом и внучка — ее гордость и надежда.

Люба большая преподавала вокал и до десяти утра принципиально молчала. Говорила, что связки еще отдыхают, поэтому ходила, как немая, шевеля по-рыбьи губами. Она пела редким колоратурным сопрано и могла достаточно прилично взять соль третьей октавы. Долгое время выступала в оперетте, преподавала

в музыкальном училище, давала частные уроки, а потом вышла на пенсию и стала обучать сугубо на дому.

Учеников всегда было много. Считалось, что заниматься у Любови Адамовны хоть и дорого, но очень престижно. Она может научить петь даже глухого и немого, хотя «выжить» на ее уроках — ох, как непросто!

Любочка выросла на вокализах, «хризантемах» и песне молодого цыгана из оперы «Алеко». Она не посещала детский сад и была вынуждена постоянно слушать невыносимые вокальные распевки, от которых хотелось укрыться с головой и пожизненно зацементировать уши. Движение шло по полутонам и хранило в себе столько неприятного драматизма, будто ерзала пилка по стеклу. А потом раздавался бабушкин авторитетный голос:

— Не набрасывайся на звук, словно с голодухи! Мягче, увереннее, любя! И не подъезжай в ноту на телеге! Точнее! Выше небо! Не так манерно! Что с твоими губами? Почему ты их выпячиваешь вперед, как для поцелуя? Возьми зеркало! Контролируй свою шею! Где твоя диафрагма? Опора? Ты что, перед уроком обедала? Сколько мне нужно повторять, что перед вокалом есть нельзя?

Бабулька о музыке знала все, к пению относилась, как к таинству, и однажды целый год отчитывала одного красавчика — «баса». Помимо вокала он занимался спортом, таская гантели и штанги, а она, слушая его «зи-и-и-и-у-у-у-у», до неузнаваемости менялась в лице:

— Как ты не понимаешь? Во время поднимания тяжестей зажимается дыхание, и огромный поток воздуха сковывает связки. Это непосильное и очень вредное

Ирина Говоруха

напряжение для голоса. Определись: или ты поешь, или полностью отдаешься тяжелой атлетике!

Каждого нового ученика Люба большая встречала своей коронной фразой о том, что искусство пения — это искусство выдоха:

— Заруби себе на носу! Только академическое пение — прикрытое, окультуренное. Все остальное — нервный крик. И не смейте в своих кулуарах называть его «орево»! Орево — это то, что по всем телеканалам и радиоволнам.

Маленькая Люба, раскрашивая принцессу Жасмин, Бель и Ариэль, тоже старалась не поднимать плечи. Она все впитывала, как натуральная льняная ткань, и твердо запомнила, что для вокала лучше всего аэробика или упражнения на растяжку. Во время беременности разрешено петь только до тридцать второй недели и для быстрого восстановления голоса можно тридцать граммов теплого коньяка с медом и яичным желтком, но злоупотреблять этим не следует. Уже в пять лет она знала определение тесситуры, ариетты и фальцета, играла «Детский альбом» Чайковского и даже Экосез ми бемоль мажор. Бабушка сама с ней занималась, не доверяя приходящим учителям, и готовила ее к карьере пианистки.

Туля возвращалась с работы около шести и была ответственной за покупку продуктов. Привычно таскала сумки и постоянно жаловалась на упадок сил. На низкий иммунитет, гемоглобин, цветовой показатель крови, альбумин, билирубин и болевой порог. На головную

боль, быструю утомляемость и сонливость. Она напоминала развалюху и постоянно подчеркивала:

— Зачем кому-то сломанный стул, когда есть крепкие, дубовые, резные?

Не воспринимала ТСН, предпочитая новости вчерашние, а лучше — позавчерашние, и объясняла это тем, что раз все уже случилось, то и переживать нечего.

Бабушка, наоборот, держала руку на пульсе всего происходящего и не обращала на ее жалобы никакого внимания, считая их надуманными:

— Ты просто хочешь лишний раз привлечь к себе внимание и напроситься на жалость. Так вот, в нашем доме не принято делать поблажек!

А потом привычно семеняла к двери, чтобы проводить последнего ученика и напомнить правила:

— Повторяю: никаких семечек, арахиса, сухариков, соленых орешков, хрена, чипсов, острых кетчупов, горчицы, жирного жареного мяса, картошки, ледяных и алкогольных напитков.

Ученик, не попадая в ботинки, интенсивно кивал и пулей вылетал за дверь, а она кричала вдогонку:

— И не разговаривай на морозе!

Затем с выражением лица боярыни Морозовой заходила на кухню, царственно усаживалась за стол и расправляла своих шелковых попугаев. Принюхивалась. Пыталась заглянуть Туле через плечо — та как раз перебирала гречку и запекала минтай. Люба младшая колдовала над приготовлением лимонада, а бабушка заводила любимую песню, раскачивая ее с пианиссимо до трех уверенных форте:

Ирина Говоруха

— Слышала, что случилось у Светки? А я ее предупредила. Я сразу увидела, что он ходок, когда она первый раз его к нам привела. Сидел весь такой надутый щеголь. Одежки заграничные, словечки тоже. А глаза влажные, беспокойные и бегали туда-сюда.

Туля вяло протестовала:

— Мам, давай не сейчас. Здесь Любочка, и я не хочу, чтобы она это слушала.

Бабушка невозмутимо продолжала:

— Стала к ним захаживать ее незамужняя сотрудница Тая. То торт «Муравейник» испечет, то приготовит буженинку с хрустящей корочкой. И такая подруга, хоть к ране прикладывай. И на работе подстрахует, и денег одолжит, и обои переклеить поможет, и дефицитное лекарство достанет. Прямо мать Тереза! И так ее принимают хорошо. Муж достает гитару, поет бардов, запивая Окуджаву портвейном. Светка колдует на кухне, готовя пиццу с анчоусами. Засиживаются допоздна, и хозяйка сама мужу предлагает: «Темно на улице. Страшно. Проводи Таечку до дома». А тот и рад стараться! Живо прыгает в кроссовки, хватает связку ключей и припечатывается к Светкиной щеке воздушный поцелуй. Возвращался поздно, автобусы-то ведь уже не ходили, а до Шулявки — не ближний свет.

На прошлой неделе этот франт привычно ушел провожать гостью. Светка спохватилась, что не отрезала подруге с собой кусок пирога. Выбежала вдогонку, а они на первом этаже целуются. Да так жарко, страстно! Его руки шарят у нее под платьем, сам весь красный, с раздутыми ноздрями — чисто взмыленный конь! И что тут скажешь? Все они одним миром мазаны.

Бабушка любила подобные истории и коллекционировала примеры неудачных отношений. Смаковала их, как чай из туркменской пиалы, захлебываясь от удовольствия:

— Вот у Галки, Зиночки, Мани и Екатерины Ивановны тоже все не слава Богу.

Она постоянно находилась в поиске новых примеров мужской полигамии и радовалась, когда узнавала интимные подробности чьей-то жизни. А на счастливую любовь плотно прикрывала глаза. В упор ее не замечала, считая скорее исключением из правил, чем самим правилом. И когда за Тулей начал ухаживать директор консервного завода — приличный, серьезный Александр Натанович, всячески ее отговаривала:

— Ну, зачем он тебе? Вдовец, да еще такого маленького роста. Настоящий карлик! Верх еще ничего, а низ — будто кто-то по неосторожности чикнул ножами. Лысая голова, не отличишь от ананасной дыни, и зубы — одно сплошное золото.

Она подмигивала Любочке, строившей большую терцию в тональности соль мажор, и добавляла:

— Как думаешь, может, он ограбил гробницу Тутанхамона?

Внучка улыбалась щербатым ртом, а Туля с невозмутимым выражением лица, словно этот разговор совершенно ее не касался, продолжала заталкивать в тесто творог, лепя к ужину вареники. Только бабушка так просто никогда не сдавалась:

— Сама подумай, почти вдвое старше. Еще десять лет — и с него ни дать ни взять. А гены? Вы же наплодите лилипутов, а потом сдадите в цирк. А ты о Любоч-

Ирина Говоруха

ке подумала? Чужой мужлан в доме. И потом, разве нам плохо втроем? Сытно, тепло, интересно. Зачем куда-то переселяться и лицезреть снасти, сморкания, носки на всех батареях, разбросанные обрезки ногтей, заусеницы, жесткие волосы в стоке, когда есть Довлатов, полезная овсяная каша и концерт Чайковского для скрипки с оркестром ре мажор? Денег хватает, Зиночка приходит раз в неделю и делает генеральную уборку. Зачем подвергать ребенка стрессу переездами, новой школой, новым классом. И потом, я настоятельно рекомендую не менять педагога по специальности, а в музыкальную школу теперь будет добираться два часа в одну сторону.

Бабушка сделала минутную паузу, ожидая хоть какого-то ответа, а затем с жаром продолжила:

— Неужели я воспитала эгоистку, которая думает только о себе? Я вот никогда не выбирала между тобой и кандидатами в мужья. Ты у меня всегда была на первом месте. Как мать говорю: подожди, не спеши, обязательно появится кто-то получше, да и Любочка немного подрастет.

Туля молча защищивала вареники косичкой, и на доске уже выстроилось целых три ряда. Поэтому пришлось выдать последний козырь:

— Не хотела тебя расстраивать, но вижу, придется. Незадолго до вашего знакомства мы с твоим старым козлом оказались на одном банкете за одним столом. Он ухаживал за мной весь вечер: и наливочку подливал, и икорку на хлебешек намазывал, и на танец под белы рученьки водил. Все обещал, что буду как шпротина в масле кататься, и соблазнял тихоокеанской сайрой и тунцом. Только я не поддаюсь, и тогда он в отместку переключился на тебя.

Туля, не поднимая головы и не говоря ни слова, собрала все вареники в кучу, прижала двумя руками и вот так, творожным месивом, опустила в мусорное ведро. Затем развернулась и спряталась в ванной.

Полночи она ворочалась и потом все утро прикладывала к опухшим сузившимся глазам замороженную курицу. Трижды варила кофе и трижды собирала его ложкой с плиты. Слушала свой гороскоп. Пила успокоительный сбор № 3 и даже раскладывала пасьянс, но, когда Любочка с расческой и белым гофрированным бантом пришла заплетаться и на полном серьезе спросила: «Мама, а это правда, что в новом доме мы будем есть одни консервы, а дядя Саша станет запирать пианино на ключ?» — сдалась и дала жениху от ворот поворот. Тот достойно выслушал ее доводы, а потом закашлялся, подавившись слюной, и перефразировал Тараса Бульбу: «Твоя мать тебя родила, и она же тебя собственоручно убьет». Затем в трубке все стихло и потемнело, как перед грозой, и рассыпались короткие, напоминающие сапожные гвозди, гудки. Люба большая облегченно вздохнула, поспешила к очередному ученику и уже через секунду доносилось:

— Я хочу, чтобы на верхнюю ногу ты надел купол. Она должна быть выпуклой, округлой, большой и смачной, а ты отрезал ей голову, как бульонной курице. Между вдохом и моментом выдоха — естественная секундная задержка.

Ученик пробовал еще и еще, а Люба все больше распалялась:

— Что я слышу? Опять белый звук! Не смей подражать попсе!

Глава 2.

Большой привет из Ленинграда

Летом 1970 года Люба большая с мамой уехали отдыхать в Евпаторию. Они обожали этот низкорослый городок с кинотеатром «Ракета», ханской пятничной мечетью — Джума-Джами, светящейся в темноте, как огромная аромалампа, и домом Дувана в Летнем переулке. В нем подкупали округленные углы, женские маски с растрепанными волосами и львиные морды цвета золотого песка.

Женщины остановились в доме отдыха и быстро наладили свой курортный режим. На пляж ходили с раннего утра и возвращались, когда большинство курортников еще только надувало детям круги и кипятило воду на чай. Мама терпеть не могла раскаленного, как подошва утюга, солнца, кашеобразного моря из-за взлохмаченного сотнями ног песка, запаха тины и сероводорода. А еще ее раздражали поджаренные, будто на гриле, люди, безобразные мужчины в газетных панамках и самодельные палатки: четыре палки, между которыми натянута

застиранная простыня. На пляже периодически что-то объявляли в мегафон, больше напоминающий фен, продавали растаявший пломбир и фотографировали детей в ржавом кораблике «Бригантина». В огромный ангар с надписью: «Навес детсада „Теремок“ занят с 09:00 до 12:00» все равно набивались чаморошные люди и бесцеремонно укладывались спать, тыкаясь сухими пятками соседу в лицо. Тогда они возвращались в свой прохладный номер, чтобы вздремнуть, полистать «Новый мир» с непонятным Аксеновым и его «Затоваренной бочкотарой» и в очередной раз обсудить повесть «Неделя, как неделя». Люба, когда прочла ее в первый раз, долго расхаживала по комнате, задевая журнальный столик с тарелкой мускатного винограда, и утрамбовывала свои мысли, как землю под газон, а потом выдала:

— Так жить нельзя! Это унижение для женщины, для личности, в конце концов! Главная героиня превратилась в добровольную рабыню своей семьи. Меня затошнило уже на «среде», а «эта сумасшедшая Оля» вышла аж до воскресенья. И такое оно у нее не последнее. Подобных недель у нее — сотни.

Мама, накладывая на лицо толстые ломти пупырчатых огурцов, кивала. Она уже давно ей втемяшивала, что талантливой женщине следует воздержаться от детей и от «большой» любви.

Затем они обедали в столовой, в самый солнцепек спали, а вечером прогуливались вдоль набережной Терешковой и санаториев, специализирующихся на лечении туберкулеза кожи, ревматизма и полиомиелита. Ели шашлык за три рубля. Их жарили женщины в белых, почти что докторских, халатах и подавали на тарелке из

гофрированной фольги. Сверху — два куска пшеничного хлеба, как два толстых пуховых одеяла. Ходили на популярную пешеходную экскурсию «Малый Иерусалим» и тарасились на еврейскую синагогу, кенасы, молитвенные дома дервишей, православных и мусульман. Разглядывали турецкие бани, особняки известных горожан, базарные ворота и мастерские ремесленников. Цитировали Маяковского, приехавшего в город четыре раза и громко заявлявшего: «Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории». Любовались черно-белыми лебедиными озерами, бесплодными оливками и дышали выразительным запахом полыни, низкого лилового чабреца, можжевельника и соли.

Во время одной из таких прогулок мама впервые разоткровенничалась и рассказала о причинах развода с Любиным отцом. Вся жизнь для дочери существовала одна версия: «разлюбили друг друга» или «по отдельности мы звучали чисто, а вместе — фальшиво», но тем летом всплыли новые детали:

— Он постоянно пропадал на гастролях. Ездил по всей стране со своей филармонией и частенько болел, так как приходилось играть в неотапливаемых залах. Как-то пожаловался на периодическую утомляемость рук. Что не может взять полноценный нонаккорд и что даже сам не слышит своего «пиано». Затем начались острые боли в суставах, предплечье, онемение и дрожь в пальцах. Боль донимала и ночью, когда руки пребывали в полном покое. Он стал курить, гасить страх алкогolem и срываться. Ни с того ни с сего мог завопить и стукнуть кулаком по клавишам: «Я не слышу свою доминанту. Мои ноты будто обуты в тяжелые сапоги

новобранца. Лучше бы я потерял потенцию, чем музыкальное чутье!» А когда во время исполнения вальса Шопена замычал, делая сотни лишних движений корпусом, чтобы добрать драматизма, ему дали отпуск и порекомендовали подлечиться. Это я сейчас понимаю, что у него были переигранные руки, которым требовался полный покой. И что следовало «заковать» их в гипс, записаться на электрофорез, парафин, грязи, а я только покрикивала: «Соберись! Прекрати жевать сопли! Что ты истеришь, как не мужик!» А он еще сильнее нервничал, играл сутками напролет, но становилось все хуже, пока руки окончательно не потеряли легкость, а пальцы — беглость. Ему уже не давалась орнаментика и птичьи трели, длинные форшлаги и даже простые арпеджио. Его исполнение уже напоминало ремесленное, местами топорное и неритмичное. И сам он выглядел жалко — в пижаме, с сальными волосами и нерабочими руками-клешнями.

Как-то раз возвращаюсь вечером домой и вижу на пороге чемодан. Твой отец, в шапке и пальто, переминается с ноги на ногу, будто хочет в туалет, вытирает лоснящийся лоб и шею, а потом говорит одолженным голосом: «Ухожу. Между нами давно нет благозвучности». Я не стала его останавливать. Собрался — скатертью дорога. Только указала глазами на полку, на которой валялись забытые перчатки и нелюбимый «кусачий» шарф.

Как оказалось, он уходил не в никуда, а к «первой скрипке». К неказистой женщине-подростку в угрях и безвкусных оранжевых ботах. Она стала его таскать по специалистам, бабкам, экстрасенсам. И ты знаешь,

Ирина Говоруха

привела в чувство. Конечно, в оркестр он больше не вернулся, но остался в профессии.

Люба сглотнула. Она часто виделась с отцом. У него родились два мальчика-погодки, жена из бот прыгнула в лодочки, а он возглавил детскую музыкальную школу. Любу всегда поддерживал, вникал в ее дела, интересовался академическими концертами и считал, что дочке лучше всего удастся музыка, написанная скандинавскими композиторами, поэтому неутомимо объяснял философию Грига:

— Его гармонию нужно чувствовать. Нахрапом не возьмешь. Между ладами напрочь стерлась грань, и никогда не знаешь, куда придешь: в минорную доминанту в мажоре или в мажорную доминанту в миноре. Просто, когда играешь — представляй викингов, ледяное море и скалу Прекестулен.

Он часто рассказывал об этой «кафедре проповедника», нависающей над морем в виде абсолютно плоской роликовой площадки, об изобилии белых грибов в лесах и мягком климате, благодаря согревающему течению Гольфстрим. А вот мама с тех пор бывшего мужа игнорировала, подсмеивалась над ним и старательно разыгрывала успешную даму. Всякий раз, когда он приходил к Любочке, принималась звонить косметичке или портнихе и обсуждать фальшивым голосом пошив миди пальто или преимущества новомодного душа Шарко.

Это случилось в конце сентября, когда от Марфиного лета не осталось и следа. В кинотеатрах бил все рекорды фильм «Белое солнце пустыни», и афиши с лысым мужиком, зарытым по шею в песок, мелькали на каждом

углу. Еще до конца не выстывшее солнце зарывалось в сушку-листву, оттеняло амарантовый барбарис, фонарики физалиса и порхало между березами, накладывая на них свои изящные витиеватые тени.

Утро началось как всегда. Люба с мамой позавтракали гренками, залитыми сладким омлетом, и выпили черный, пахнувший опилками, чай. Обсудили планы на день и напомнили друг другу, что вечером идут в театр — давали «Бесприданницу». Потом мама неожиданно полезла в сервант и еще раз показала шкатулку, в которой лежала сберегательная книжка, деньги и несколько тяжелых колец 583-й пробы. Люба отмахнулась: «Не вовремя». Мама обняла себя за плечи, задумчиво посмотрела на свою свадебную фотографию и сказала голосом Татьяны Самойловой из фильма «Летят журавли»:

— А кто его знает, Любочка, когда время.

И все было, как обычно, только необъяснимая тревога сосала под ложечкой. Точно так же, как в детстве, после прочтения рассказов Веры Пановой «Валя» и «Володя». В тех историях люди уезжали из военного Ленинграда, еще не понимая, вернутся ли обратно. Так и Люба спинным мозгом предчувствовала, что должно что-то произойти, и больше не будет прежней жизни.

Интуиция ее не обманула. Во время четвертой пары девушку вызвали в деканат, и она шла, пошатываясь, будто страдающая хореей, и почему-то представляя несчастье с отцом. Только не угадала.

В деканате было жарко и пыльно. Все-таки солнечная сторона. Из щелей старого паркета поднимался мелкий, как манка, песок и перемещался по принципу

Ирина Говоруха

калейдоскопа. Коротковатые, севшие от многочисленных стирок, шторы демонстрировали затертые плинтуса. На столе валялось недоеденное яблоко со следами зубов и крови, заигранная партитура Лысенко и несколько папок с серовато-коричневыми завязками. Ей что-то осторожно говорили, будто медленно вводили магнезию и пристально следили за реакцией, с готовностью подставляя под локти руки. Все собирались ее ловить, хотя девушка даже не думала падать. Люба старалась в сказанное не вникать и с интересом рассматривала секретаршу с глупыми от страха глазами, паркет, уложенный в виде прямой палубы, и залепленную изолентой форточку. Кто-то настоятельно рекомендовал прямо сейчас возвращаться домой, но девушка оказалась неумолимой:

— Только началась пара по музыкальной литературе. У нас новая и очень важная тема. Я не могу себе позволить ее пропустить.

И она вернулась в аудиторию с белым фарфоровым лицом куклы Пандоры. Села за парту, сосредоточилась на непричесанных «Картинках с выставки» Мусоргского и даже законспектировала четыре ремарки. Мелодии звучали зловеще, депрессивно и угрожающе. Возможно, потому что у композитора, ушедшего в сорок два года, наблюдался миллион болезней, включая слабую печень, ожирение сердца и воспаление спинного мозга. Его «Гном» смахивал на монстра, а когда дошли до «Балета невылупившихся птенцов», заложило уши, и девушку мелко затрясло, как при высокой температуре. Люба ощутила такую боль, что, казалось, потеряет сознание, только опять собралась, достала закатившуюся под пар-

ту ручку и даже приняла участие в обсуждении характеров «двух евреев» и «прогулки», больше напоминающей немецкий военный марш. Потом они с подругой возвращались дворами и говорили о распавшихся «Битлах» и о моде на платья по мотивам живописи художника Питера Мондриана. Девушка завистливо вздохнула:

— Тебе-то что? День-два — и у тебя такое появится, а я вот у своих даже кофточку с рукавами-фонариками не допрошусь.

Люба всегда хорошо одевалась. Мама доставала ей все самое лучшее — черные сапоги-чулки «Go-Go» с широким закругленным мыском, брючные ансамбли с геометрическим декором, мини-платья с цветочными и абстрактными рисунками, черные лодочки и А-образные пальто. А еще у девушки была модная французская стрижка, и однокурсницы умоляли ее дать телефон парикмахера. Мама фыркала: «Еще чего! Будут все, как под копирку. Лучше дай им рецепт печеных яблок со сливочным маслом и коньяком, и пусть больше хозяйством занимаются да сарабанды разучивают, а не волосы стригут».

Мама умерла еще до начала рабочего дня, ровно в 08:30 утра. Она стояла на остановке, а не протрезвевший с ночи водитель потерял управление, выскочил на тротуар и врезался прямо в нее, слегка задев парочку, ничего не понявших, пассажиров. Те отделались сломанными руками и лодыжками, а она даже не успела вскрикнуть и закрыть руками лицо. Поэтому он продавил колесами лоб, нос и подбородок, выдавив глаза, как косточки из вишен. Ее сердце еще трижды попыталось

Ирина Говоруха

качнуть кровь, а потом замолчало. И когда скорая, истерично вопя и расталкивая немногочисленные машины, заехала на бордюр, тело уже было накрыто чьим-то стареньким макинтошем.

Люба вернулась домой, вымыла руки и оставшуюся в раковине посуду, подмела в коридоре, сняла стирку с веревок на балконе, рассортировала ее по полкам и ящикам и только после этого позвонила отцу. Они бежали вместе по похоронным службам, заказывали гроб, духовой оркестр и обед в приспособленном для такого события кафе с обязательным коливом и блинами. Он плакал. Говорил, что такие сильные люди не должны умирать. Умирать положено слабым и никчемным. Люба ничего не чувствовала. Не верила. Не говорила. Думала почему-то о третьем капризе Паганини, о том, что завтра хор, а у нее еще не переписана партитура. А еще о том, что нужно не забыть достать из морозилки мясо, так как по субботам они с мамой всегда лепили пельмени.

Через несколько лет она узнала, что в этот же день скончался Ремарк. От аневризмы аорты. И опять-таки постаралась заглушить воспоминания о том, как они по очереди читали его роман «На западном фронте без перемен», написанный всего за шесть недель остро заточенным простым карандашом.

О своем горе Люба никому не рассказала. Не хотела, чтобы жалели, цокали языками, раздавали авансы и ставили отметки из жалости. До окончания училища оставался всего лишь год, и не хватало ей еще раскиснуть и опустить руки. В деньгах девушка не нуждалась.

Мама всегда хорошо зарабатывала, благодаря частным урокам, да еще отец начал активно помогать. Каждый месяц привозил двадцать пять рублей и извинялся, что больше не может. Чтобы не сойти с ума в пустой квартире, Люба устроилась на полставки лаборантом на кафедру.

Некоторое время девушка ничего не видела и не замечала. Пропустила первый розыгрыш «Спортлото» на центральном канале, в котором под мелодию «Воздушная кукуруза» прыгали в барабане веселые пронумерованные шары. Не заметила, что полгорода напялили шапки-петушки с вышитыми елками и оленями, что началось масштабное строительство города Припять, и на фабрике «Семеновская роспись» сделали 72-местную матрешку высотой в человеческий рост. Новый год встретила одна. Достала две хрустальные рюмки, плеснула в них немного водки и выпила залпом из одной и второй. У мамы была договоренность с подругами: на все дни рождения дарить только хрустальные вазочки, салатницы и фужеры. И не дай Бог во время мытья кефиром (для особого блеска) смыть этикетку! Ни у кого не должно возникнуть сомнения, что это настоящая Bohemia.

Год начинался в пятницу, и впереди были целых два выходных дня. Снега выпало немного, в несколько марлевых слоев, и мороз держался приятный — всего минус шесть. Люди в спешке готовились: таскали за собой елки со сломанными верхушками и дирижабли с алыми звездами. Распределяли, кто готовит свекольный салат, а кто — торт «Мишка на севере». Делали генеральные уборки и варили всеобщие холодцы.

Ирина Говоруха

Люба почти не заходила на кухню. Грызла сморщенные яблоки и давилась холодной вермишелью. Играла ноктюрн Бабаджаняна, плакала, уткнувшись в мамин платок, и смотрела «Чародеи». Наводила порядок в пластинках, выставляла по алфавиту книги, что-то утюжила, отбеливала, мыла. Складывала полотенца, постельное белье и отрезки ткани. Отдельно цветочную бязь, отдельно — детскую, с наспех нарисованными двухпалубными корабликами. А потом гуляла по улицам и разглядывала снег. Придумывала ассоциации. Этот сугроб напоминает холодную, сваренную на воде, манку, взявшуюся комками. Этот — чисто сахар-рафинад. Справа, под забором — зернистый творог. Слева, у самой проезжей части — рисовый пудинг. Машины двигались друг за другом гуськом, опасаясь заносов и гололедицы. В хлебном магазине в витрине остывали сплюснутые булки-лапти. У главпочтамта стояла иномарка, и мужчины таращились на нее с таким неподдельным интересом, словно увидели зайца с ослиной головой. Мимо торопилась женщина в пуховом платке. Она несла домой веник и авоську с пятью киевскими тортами.

Люба ежеминутно пыталась заполнить свою разрастающуюся пустоту. Чужими лицами, эпизодическими встречами, неважными разговорами. Использовала любую возможность, только чтобы не находиться дома. Вспоминала, как на днях на кафедре все доедали блюда, оставшиеся с новогодних столов, и обсуждали «Голубой огонек». Особенно цыгана Волшанина. Одна старенькая преподавательница, читающая музыкальную форму, смело заявила:

— Я бы с ним переспала, не раздумывая. Хоть сейчас.

На что вторая заметила:

— Главное, чтобы он с вами захотел переспать.

Кафедра взорвалась смехом. И Люба тоже смеялась, чтобы не плакать.

Позади осталась телефонная будка с женщиной в сером пальто, любовно поглаживающей свой песцовый воротник. Такое же пальто было у мамы, и душу снова защемило, будто зажатую пассатижами. Она вспомнила, как однажды они пришли в магазин, торгующий мылом, сатиновыми ночными рубашками, невидимками и огуречным лосьоном. Девочка зазевалась, отошла, а когда опомнилась — прибежала к первой попавшейся тетеньке в таком же пальто и прижалась к ее карману щекой. Все рассмеялись, и только тогда Люба заметила, что тетка чужая, просто одежда одинаковая. А еще в то время она очень боялась Деда Мороза. В первом классе на утреннике присела возле его валенок, украшенных битыми елочными игрушками, чтобы потрогать орнамент, а мужик в этот момент сделал шаг, и она сильно поранила два пальца.

Мимо важно прокатил голубой автобус № 5, и Люба заметила в нем нового преподавателя. Сердце сразу же замерло, а потом разделось, покраснелось, разошлось, исполняя непозволительный для советского человека танец канкан.

Новый хормейстер пришел к ним в начале учебного года. Статный, высокий, требовательный, по имени

Ирина Говоруха

Сергей Васильевич. Немного чудной, так как вместо ластика говорил «стерка», а вместо эстакада — «виадук». Девчонки попробовали с ним шутить и флиртовать, но он мгновенно всех поставил на место. Раздал новые партитуры: «Ах, Самара-городок», Моцарта на латыни и «Зимнюю дорогу» Алябьева. Рассказал новые правила и еще раз проверил диапазон. Студентки попытались спорить, объясняя, что и так знают, кто первый альт, а кто второй, только он ничего не хотел слушать и зашагал пальцами по полутонам, а когда очередь дошла до Любы, заметно оживился:

— У вас колоратурное сопрано, и нужно больше заниматься.

Люба вспыхнула, а он поставил закорючку в своей тетради и вызвал следующую ученицу.

Сергей Васильевич был красив. Светлые волосы и тонкие черты лица. Носил брюки клеш, водолазки и свитера, связанные резинкой под названием «лапша». Стройный, без живота. Чуть за тридцать. За его спиной сплетничали, что у него очень прагматичная жена, далекая от музыки, обожаемая пятилетняя дочка и нелады в семейной жизни.

Хор традиционно ставили последней парой, и девушки слетались в туалет подправить макияж, подтянуть чулки и взбить на макушках волосы. Сергей Васильевич заходил и слышал все: кто недавно переболел и звучал глухо, кто с вечера ел мороженое или пил минералку. Поговаривали, что видели, как он подходил к автомату газированной воды, отбирал стакан и безжалостно выливал его содержимое в траву. В «женские дни»

просил даже не рыпаться, поберечь связки. Девчонки, чтобы его увидеть, ломались в двери, а он уже во время распевки морщился, будто от резкой головной боли, и просил пощадить его бедный слух. Люба была в него влюблена, как и многие другие, просто камуфлировала свой интерес. Не выдавала себя ни свинячим визгом, ни суетой, ни округленными, как стены Колизея, бровями. Занималась днями напролет, и единственная знала наизусть все партии.

Он дирижировал скупой, по-новому. Иногда опускал руки вниз и показывал глазами, кому когда вступать. Бывало, поднимал вместе три склеенных пальца и нажимал в воздухе на видимую только ему кнопку. Подзывал второе сопрано одними подушечками. Это напоминало кормление цыплят на птичьей ферме, а означало просьбу петь чуть точнее или выше хотя бы на четверть тона. Злился, когда хор, поющий а капелла, сползал вниз, как великоватые ботфорты по слишком худой голени, и досадовал:

— Вы что, не слышите? Начали в ре миноре, а закончили в до.

Как-то раз он пришел в аудиторию со своей дочкой и выглядел непривычно смущенным. Усадил ее на стульчик возле аккомпаниатора и приказал сидеть тихо. Девочка намертво приклеилась к стулу, стянула с головы шапку конькобежца и тряхнула беленькими, будто вымоченными в молоке, хвостиками. Затем расправила трикотажное платье-матроску и с интересом посмотрела на свои ноги в перекрученных колготках и счесанных на носках лаковых ботинках. Люба приветливо ей кив-

Ирина Говоруха

нула, и девочка застенчиво улыбнулась. Затем студентка поманила ее к себе, и та, поймав одобрительный папин взгляд, ловко соскочила со стула и устроилась у той на коленях.

От нее пахло ирисками, мастикой для мебели и папиным одеколоном «Русский лес». Девушка растерялась. Прижала ее к себе одной рукой и ощутила, что ребенок очень горячий. Потрогала лоб и многозначительно посмотрела на ее отца. Тот кивнул «я знаю» и попросил открыть «Ночевала тучка золотая» Чайковского. Люба с готовностью округлила небо. Девочка замерла и не пошевелилась до конца произведения. А когда все песни были спеты, и все партии проанализированы, Сергей Васильевич подошел поблагодарить и устало объяснил:

— Не с кем оставить. Второй день температурит, жена в командировке, соседи на работе, а у меня уроки. Пришлось тащить ее с собой.

— Может, будет лучше отвести малышку домой? Я могу с ней посидеть до вашего прихода.

Он обрадовался. Взъерошил свои волосы, черкнул адрес, помог дочке с шубой и варежками и протянул ключи.

Коммунальная квартира, в которой жил Сергей Васильевич, состояла из восьми комнат, общей кухни и темного коридора, напоминающего кроличью нору. На стенах висели тазы, авоськи, репродукция Брюллова, стремянки и фанерные чемоданы. Кое-где простаивали лыжи, палки с большими опорными кольцами и удочки. Свисали велосипеды и детские коляски, будто некая инсталляция Маяковского, любившего желтые банты и летающие рояли. Чья-то раздутая аптечка. Пара дам-

ских чулок с черными, плохо отстиранными пятками. Мухобойка. Счеты и кошачий туалет с невыносимым запахом аммиака. Хормейстер продолжал жить в коммуналке в то время, когда по всей стране уже активно расстраивались дома-корабли с пятикомнатными квартирами и шестиметровыми кухнями, и Любе было страшно подумать, что он делит с соседями ванную, раковину на кухне и дышит этим унижительным запахом псины. Девушка брезгливо повела носом, будто пчела, и Наташа скороговоркой объяснила:

— У наших соседей живет дог. Огромный, не меньше экскаватора. У него длинные ноги, как у девушки-модели.

Девочка засмеялась и добавила:

— Это мама так говорит.

Сперва они отправились мыть руки, и Люба долго таращилась на ванную, в которой мылись, брились и стирались абсолютно чужие люди. В ней пахло сыростью, и давил на глаза тоскливый зеленый цвет. Со всех сторон обступали крючки и полотенца не первой свежести, алюминиевые тазы, стиральные доски, ожерелья из прищепок, мыльницы со скисшими обмылками, ржавчина и грибок.

Далее они оказались на кухне. Там было не лучше. Тельняшки вперемешку с женскими панталонами и нуждающимися в штопке носками сушились прямо над кипящей кастрюлей с борщом. Возле тумбочки в коляске спал абсолютно лысый ребенок со стержнем от пирамидки в руке. Рядом энергично крутила ручку мясорубки толстая женщина в халате, наблюдая, как из круглого отверстия лезут розовые спиральные ленты

Ирина Говоруха

мяса. На подоконнике загорали несколько пустых бутылок из-под молдавского вина и самодельная пепельница, полная окурков.

— Вот это наша конфорка.

Наташа указала на нижнюю левую и хлопнула в ладоши:

— Так блинчиков хочется!

Люба уточнила, где хранятся их продукты, и быстро развела блинчики на газировке.

В их комнате оказалось не прибрано, видимо, из-за проведенной бессонной ночи. На полу — ватный компресс с маргариновой бумажкой внутри, недоеденная каша, разбросанные игрушки, незастеленная супружеская кровать. Наташина постель — за перегородкой. Фортепиано, заваленное партитурами. Сказки Братьев Гримм с закладкой на «Бременских музыкантах».

Люба раздела девочку, уложила в постель и измерила температуру. Ртуть подползла к отметке 37,5 и загустела джемом. Затем напоила теплым чаем с медом и надела распарованные носки. Левый — красный, а правый — с зайцем. Одинаковых она не нашла. Когда Наташа уснула, быстренько прибралась и рассмотрела каждую деталь. Все, что принадлежало той, другой женщине. Прежде всего, фото. На одном из них она стояла в дурацком костюме цвета докторской колбасы и напоминала верблюда. Такие же безразмерные губы и широкий нос. На трельяже валялся ее шиньон, с торчащими из него шпильками, и сваленные в кучу бигуди. На шкафу — трехлитровые банки со сливовым компотом. Сумка с потертыми ручками. Неглаженое белье в шкафу. Не

помытые с осени окна. Чашки с несколькими чайными ободками. Люба дотошно искала доказательства того, что она старая, неопрятная, совершенно случайная в его жизни. Что не хозяйка, не женщина, не жена. Вот она была бы лучше. Шустрее. Заботливее.

Сергей Васильевич вернулся около семи в мокрой шапке и пальто. На улице зарядил мокрый снег. В комнате пахло жареной картошкой. Стол, расчищенный от утюга и швейной машинки, был сервирован тарелками, хлебной корзинкой и маринованными огурцами, присыпанными кубиками белого злого лука.

Он покраснел. Снял обувь и остался в мокрых носках. Наташа кинулась ему на шею и стала рассказывать о блинчиках на колючей воде. Он рассеяно слушал и, не мигая, смотрел на Любу. Та сняла с талии полотенце и смущенно развела руками:

— Я тут немного похозяйничала. Наташа сказала, что мама приедет только в пятницу, поэтому завтра, во второй половине дня, когда у вас индивидуальные занятия, я могла бы с ней снова посидеть.

На следующий день Люба отпросилась с четвертого урока и пришла с гостинцами. Принесла банку земляничного варенья и коробку «Птичьего молока». Для начала они испекли печенье. Наташа так радовалась, выдавливая формочками грибочки и звездочки. Потом варили суп харчо. После этого Люба учила с ней стихи Барто, пришивала голову пингвину и играла в игру «Одень куклу», примеряя брючные костюмы и купальники.

Ирина Говоруха

Сергей Васильевич пришел чуть раньше и с диафильмами. Они быстро, в четыре руки, будто это делали не один десяток раз, натянули простыню, выключили свет, и на экране появилась заставка с надписью: «В 2017 году». Хормейстер ловко перемотал кадр и стал дикторским голосом читать о том, как все будут жить через пятьдесят лет — в канун столетия Великой Октябрьской революции. Там было много интересного и непонятного: и лупа времени, и мосты, чудом возникающие над ущельями, и повернутые вспять Обь и Енисей. Умная кулинарная машина сама готовила завтрак, будильник давал щелбаны, жители странного подземного города Углеграда загорали под кварцевыми лампами, и строилось междугородное метро через всю Арктику. Наташа постоянно переспрашивала непонятные слова, просила показать картинку еще раз, и Сергей Васильевич послушно крутил колесико назад и гладил Любину руку чуть выше локтя. Люба сперва боялась пошевелиться и сидела ровно, будто стальной трос проглотила, а потом добралась до его пальцев и крепко сжала, что означало: «да».

На следующий день все вернулось на круги своя. Наташина мама наконец-то прилетела из Риги, девочка практически выздоровела, а Сергей Васильевич снова превратился в каменного человека без эмоций. Только теперь каждый раз во время встречи у Любы внутри все переворачивалось, и с головы до ног ее окатывало кипятком. Хормейстер тоже становился розовым, как черешки ревеня, и нервно проводил ладонью по вспотевшему лбу. Потом быстро приходил в себя и возвращался к важности цепного дыхания:

— Слушайте друг друга. Хор — это не пятьдесят солистов. Хор — это один слаженный организм и, если фраза длинная, требующая ровного гладкого звучания, берите дыхание по очереди, а не все вместе, как вы сделали минуту назад.

Февраль большинству оказался не по зубам, и полгорода слегло с гриппом. Те, что оставались здоровыми, с опаской поглядывали на каждого чихающего и килограммами поглощали лук и чеснок. Парили руки до локтей в теплой соленой воде и взбивали желтки с пивом. С неба летело все вперемешку: дождь, град, снежный порошок, почти что сода, крупные, напоминающие овсяные хлопья, снежинки и даже что-то похожее на семена сезама и орхидеи. Изредка выпадали сухие морозные дни, и крыши, присыпанные снегом, будто сахарным песком, переливались на солнце.

В тот день Люба возвращалась поздно. Осталась на кафедре позаниматься, хотя дома стоял инструмент намного лучше. Она как раз разучивала «Жатву» Чайковского, и в одном месте у нее никак не получалось. Преподаватель кидался к инструменту, словно на амбразуру дзота, и расставлял руки так широко, будто хотел обнять весь инструмент:

— Вот смотри, левой рукой мы «захватываем» колны колосьев, а потом, слышишь? Сильная доля. Это — свист серпа, срезающего полные стебли зерна.

Люба старательно «жала» и после отдыхала во время средней части. В ней полуденное солнце морило людей и поля, поровну делился поющий хлеб, лилось в горло остуженное в погребе молоко и было в десять раз меньше нот.

Ирина Говоруха

Когда закончила, за окном уже совсем стемнело. Снег успокоился и больше не шарахался в стороны, как неопытный вор-карманник. Шел штрихпунктирными линиями с двумя вескими точками. Фонари оставляли на снегу полосы, напоминающие схему для игры в крестики нолики, детвора играла в снежки, и мальчик кричал нервным, сорвавшимся голосом: «Сдавайся! Я тебя уже давно расстрелял».

У забора ее ждал Сергей Васильевич. В том месте, где уже вторую неделю висело объявление: «Продам новый пылесос „Ракета“. Недорого». Увидев Любу, кинулся наперерез:

— Люба, вы оставили у нас свои формочки для печенья. Я уже неделю ношу в портфеле, все забываю отдать.

Он стоял в толстом черном полушубке из искусственного меха и пытался стряхнуть застрявшие снежинки в виде звездочек-ежей. На шее — шарф с пятном от какой-то молочной каши. Видимо, не успевал и доделал свой завтрак почти что на выходе. Люба даже услышала, как жена со злостью выкрикнула: «Куда собрался? Для кого я все утро торчала на кухне? Я, между прочим, тоже на работу тороплюсь». Девушка вдруг почувствовала свое превосходство. Свою свободу, современность, независимость от предрассудков, и тут же миллион иголок проткнули ее тело насквозь:

— А знаете что? Я живу недалеко. Пойдемте ко мне пить чай.

Он, казалось, только этого и ждал. Послушно кивнул и бросил завернутые в газету формочки обратно в портфель.

Они шли быстро, поторапливая друг друга, но Люба, спустя годы, могла воспроизвести все по секундам. И нездоровое небо с синими вздутыми жилами, и вытоптаный, словно зацементированный, снег с собачьими рыжими колбасками, и рябиновые пятна, и несколько заржавевших елок у мусорных баков, и даже пожеванную детскую соску, о которую не один ребенок чесал режущиеся зубы. Воздух покалывал, как при электрофорезе. Подъездные санки с цветными перекладинами, сваленные в кучу, напоминали радугу. Люба постоянно спотыкалась, пробуксовывала в своих скользких, будто коньки, сапогах, и Сергей Васильевич бережно и крепко поддерживал ее под локоть. Его рука обжигала ее до кости.

Они нырнули в арку, напоминающую потайной карман. Снег в ней выглядел пупырчатым операционным пластырем. Постояли, переводя дыхание возле кучки подсолнуховой шелухи, и понаблюдали за ужином птиц. Он указал на ближайший подъезд: «Это твое парадное?» Девушка кивнула, балансируя по обледенелому бордюру, а он потянул за рукав и строго так приказал: «Слезь с поребрика».

До чая они не дотянули. Сперва он ее целовал, прижав к горячей кухонной батарее, а она тихонько попискивала. Стягивал свитер и трогал все: заточенные лопатки, крючок бюстгальтера, крепкие ключицы, живот и овалы груди. Гладил под юбкой, а она стеснялась своих синих, в двух местах заштопанных рейтуз. Затем они долго возились в кровати, и Люба пыталась разобраться, куда девать ноги, локти, правое плечо. Одна ее рука постоянно оказывалась лишней, и он ее то прижимал, то целовал, то направлял себе прямо в пах.